

LUDI

поэма архетипов

Аркадию Драгомощенко

Желтый лист упал на землю.

Писатели

Когда путь земной проходишь значительно дальше, чем "до половины", то видишь: он поневоле стремится стать кругом, вытягиваясь в эллипсообразную каплю, которая вот-вот оторвется. Она смиренно склоняется перед силой первородного толчка, и сила эта, давно потерявшая значение точки, избыточно разливается по пространству жизни, рождая сопротивление души, не успевающей за этим движением. А поэтому всяк стремится ее подсушивать, думая, что она от этого летать будет лучше — здесь слабое знание, перенос биологии в чуждый ей мир неосязаемости: душа субстанция косная, чтобы стать бессмертной, она должна умереть, и лучше всего сделать ей это в обжитом пространстве. Становясь предметом описания, обжитое пространство — вещь невообразимо скучная, словно колония сенных микробов, ставших сонными, пересыпающимися в ушах без звука, в глазах без формы: автоматизм вста-ва-ни-я-у-мы-ва-ни-я-ко-фе-си-га-ре-та-те-ле-фон-чте-ни-е-пись-мо-сон-дождь-за-ок-ном-ко-ле-со-и-так-да-лее —

...забыто так и не ставшее широко употребительным слово "изживание", — тогда понятной стала бы вот какая вещь: "обжитое" есть, по сути из-жи-то-е пространство, из которого не убежишь просто так, с помощью романтического порыва из конечного в конечное...

сон-дождь-за-ок-ном-о-де-ва-ни-е-по-ход-про-ход-ка-по-из-жи-тым-у-ли-цам-стоп!

Есть движение.

Броуново движение.

— Это есть игры.

Это есть игры на случай.

Это есть игры, когда ты играешь, ну, как это сказать по-русски? — «поза».

Да, да, это поза, это улица, когда ты стоишь и смотришь на эта улица.

И тогда ты видишь игры.

Ты стоишь на Невски-Литейны, Горьки-Садови, Крещатик- Старокиевски
и видишь игры.

Ты стоишь как игрушечный царь и смотришь на эти игры.

И ты видишь эти люди.

ЦУГУНДЕР — последователь системы "цу-гун" останавливается, вынимает блестящие шарики из головы, крутит их в руках, они получают инерцию, он опять вкладывает их в голову, там они вращаются, благодаря инерции, рот его раскрывается, сыпятся инерционные фразы, вянет ухо-урна, набитая картонными коробками, шарики останавливаются, он их вынимает из головы, крутит в руках, они получают инерцию

АВГУСТИНА насыщает салон автомашины ураганом французской парфюмерии, в глазах ее мозаика масс-медиа вперемешку с чем-то чуть-чуть прочитанным; она вытягивает из крокодиловой сумочки свое родовое чувство — длинную сыромятную ленту с завязанными узелкам и, перебирая каждый из них, рассказывает по очереди о всех своих родных и близких даже не в третьем, а в каком-то далеком четвертом лице

НОМО SNICKERS стоит на одной ноге, на пальце, в специальной обуви с подшипником в носке, поднял вторую (бедро ее параллельно полу), на сером пиджаке — фирменная бирка, пробор безукоризненный и галстук совпадают; вращается, вращается, пропускает и загоразивает, вращаются его глаза, шарят по серым стенам с бурыми подтеками: осознание наодеколоненной полужизни вокруг, как вроде бы жизни (и смерть в ней незаметна, и жизнь еще не началась) стучат часы, из мыльной пены слепленные, и секунды в них лопаются по два десятка сразу

АФРОДИТА поступает согласно написанному мелкими буквами на тубе: "Polypropylen, speziell fur Bad, angenehmes Sitzen in der Wanne", в чашу цветка из розового мрамора выдавливает зеленого червя длиной в 3,5 см, заливает это дело кипяченой морской водой, залезает туда, поднимает там пену, гарантированную фирмой "Badjaga", затем выходит из этой пены, и режиссер клипа заставляет делать дубль: все, как надо — Зевс с Олимпа со вспышкой "Toyota", Аполлон, наполовину высунувшийся из камня, — она же выходит замуж за металлурга, слюнявого уroda, Героя Труда

КОРЕНЬ наморщивший все свои смолы, всю огранку веществ, проросший потолок подвала, где он днями и ночами высасывает эти смолы из японских микросхем, пытается соединить живое с мертвым на уровне неведомых энергетических полей, лугов, лесов и рек, несчастный человек! он исповедует "теорию духовно-материальных архетипов"

МАНЬЯНА постоянно прячется за фанерным щитом, на котором человек нарисован, боится из-за щита выглядывать, рядом сын малолетний, скованный страхом, и когда она падает, и щит летит в сторону, и все разбегаются в ужасе, малыш одинокий показывает в сторону э т о г о , к о п о ш а щ е г о с я , и тихо говорит: "это моя мама"

АСТРОЛЯБИЯ — бедная женщина, как тяжело ей дышать тучной грудью, улыбаться черными усиками над толстой губой, объяснять, объяснять, объяснять судьбы людские прямо со звезд (прямо со всех сразу) ведь это очень важно: когда Рак входит в дом Венеры, то Венера становится Раком, потому что Марс вошел в дом Юпитера, и там случилось аналогичное с Овном и Козерогом в придачу; а затем, устав от город-скопии, женщина эта тучная всех от лица своего удаляет, нервно под душем холодным, горячим умственный пот отмывает и возлегает на розовом ложе с цветочками; там ее настигает друг верный с Кавказа — собака-овчарка Телец и любит ее с головы до пят, орошая живот безразмерный желтыми клочьями пены; здесь не мешает мораль увязать с позицией дедушки Крылова: коль ты **Человек**, то не стоит вручать судьбу свою Крысе, Змее и блядам псоголовым

ПРОМЕТЕЙ на алюминиевую палочку в трясущейся руке иссохшим легким телом тяжело опирается, в другой руке несет огонь бенгальский, искры металлические брызжут, лоб серебряный его, как и в начале пытки, так и сегодня — вызывающе высок; шагом, неуклюже, в перевалку бредет за ним слепой от старости орел облезлый, рекламируя пронзительным и кислым криком книгу Кьеркегора "Или! Или! Или! Или! Или!"

— Я иду по серой пустыне,
где вместо песка — порох.

Как он хрустит под ногами
кованых башмаков!

Ветер шумит горячий
в прорехах соломенной шляпы,
а солнце по всему небу

жидкое растеклось.

Сухо хрустит порох.

Сухо в пористом рту,
в горле жестком стеблистом
голоса тлеет фитиль.

Мимо обугленных братьев,
раньше пришедших — мой путь.

Каким серебром сверкают
лица их в ярости рая!

Сухо хрустит порох.

Ветер кружит, кружит,
белые блики счастья —
от черных моих очков.

Взрывается в горле пенье,
таранит остатки гор.

Оттуда поодиночке
проснувшись, откликаются,
и хлопают крыльями каменными
гранитные соловьи.

Джессика, слышишь ли рокот
старой российской музыки
в бледном и чистом коконе
свободном, свободном от слизи
пьяных кишечных мифов
о русской холере свободы
в палате 666?

— Я поняла, Игорь.

Это есть твоя игра.

Игра в самогорение, в этот самый костер, как это сказать? —
пионерский.

Это так сделали из тебя такой человек,
потому что хотели убить.

Но это не только так.

Стой и смотри,

как много разных ludies

идут мимо

очень, очень

ВЕЛЕС — это не бог, не царь и не герой, это — всегда встающий ранним утром весельчак; он сморкается на пол, сквернословит, одевает кашкет и идет в дождливое поле, и долго шагает по липкой почве, и находит в этом поле ржавую машину, и чинит в ней ржавую гайку, и едет он в этой машине за горизонт, и думает он о двух своих сыновьях, слезает с машины, едет на склад каменных мешков с окнами, находит там этих своих сыновей, узнает: не нужно ли им его отеческого участия с похлопываниями по плечу и наставлениям и, несет он им слипшиеся сизые деньги, они останавливаются вместе, смотрят в проем между каменными мешками, видят потолок склада — серое пыльное небо, и бесконечную серую лестницу, наверху которой никто не стоит

КАРМЕН — иссиня-черная, как и положено, с агатовыми выпуклыми глазами, с пунцовым ртом и безупречным профилем, в кроваво-красной блузке и черных брюках, на костылях до черноты протравленного бука, по центру тротуара гордо движется, за нею — семь Хосе и восемнадцать Эскамильо строем, сворачивают влево, вправо, где на девятом этаже квартира номер сто пятнадцать, они кладут ее на ковер кроваво-красный, раздевают, костяшками пальцев стучат по черному, с хромированными суставами протезу ноги (безумно-стройной в идеале) затем все вместе эту ногу отцепляют, пристегивают резиновую, и через клапан, как мяч, по очереди эту ногу надувают, и точно также надувают бюст резиновый, встают с колен, куплет тореадора горланят хором в унисон, затем закалывают юную красавицу резиновыми гнущимися ножами, и, на цыпочках, по очереди потные уходят, как бы не слыша женских всхлипываний, как бы плача

NAPOLEON родился в Кагарлыке 26 сентября 1954 г., в 1961 г. поступил в семилетнюю школу, после ее окончания поступил в ПТУ номер семьдесят девять тысяч четыреста сорок пять дробь восемьдесят три, там вступил в комсомол, военную службу проходил рядовым-сержантом в городе Бельцы, где познакомился с черноглазой раз-циганкой-молдованкой, поступил в училище военно-бытового обслуживания, направлен в Афганистан возглавлять военно-полевые кухни и склады стратегического питания, демобилизовавшись, неоднократно награжден, возглавлял первый отдел республиканской

Академии наук, переведен вице-президентом, а затем назначен президентом инвестиционного Пикассо-банка, женат, двое детей

ИДАЛЬГО, уступающий дорогу кошке, муравью школьнику курящему, созерцающий воинственно давку у автобуса, зеленую дыню жующий, взмахивающий рукой в такт какой-нибудь своей мысли, втуне боящийся опоздать туда, где его никто не ждет, условно обозначенный как работник в каком-то месте (непонятно — почему, где, и как, и когда, и зачем); вот только уж рост его непомерно-сухопарый, и старый-престарый китайский летний костюм из тонкой парусины, которую изготавливать умеют одни лишь китайцы

— Джессика, дождь сменил жару.

С водою воздух смешан от земли до неба.

Едва очерченные толи рыбы, толи горлинки

плывут сквозь водяную пыль, как сон сквозь сон.

Подобно сновидениям маячим

на этом вот углу — четыре глаза наблюдающих,
два женских, два мужских...

Мокнуть, наверное, нехорошо.

— Да, Игорь, это, наверное, так.

Но мне интересно здесь наблюдать.

Мне интересно, потому, что оно — чужое.

Потому, что у меня в Айдахо не так.

Там — это меньше.

Это скучно там, не так как здесь.

Я уйду, а ты стой под этот дождь.

И думай, что дождь — это слезы.

Женщины слезы для тебя.

И тебе станет легче.

А я уйду держать улыбка.

Держать улыбка — это хорошо.

ТАМАСЯ босиком ступает по черным смородинам асфальта, она не красуется, идти — необходимость удаляться сквозь щели старых дворов, сквозь рваные заплатки выселенных квартир, и случайное солнце — на красное золото щек, и сухие листья хмеля в пенистые

волосы впутываются, шуршат сухие волосы и сухие листья, шуршит голос истонченными песчинками согласных — монолог прошедшим временам в прошедшем времени — past, past, past, past, past

КОФЕМОЛКА с черными от непрерывного курения зубами, с тяжелым шагом похотливо подгибающихся ног, с тяжелой сеткой водки и портвейна, уже без семейных скандалов, уже в одиночестве, или по две, по три, бормоча московскую печатную муру, возмущаясь прошлым, прошлым, прошлым, пятидесятилетние девушки эти по углам, по темным кухням со ржавыми подтеками на потолке, — ! Зверев умер от них, а они все живы, живы, живы

АРЛЕКИНОПЬЕРОКОЛОМБИНО — общеупотребительные маски (маска) социального поведения, слепленная, согласно общепринятому стандарту, следуя которому, обязательно нужно рыдать над разбитой любовью, и, создавая предварительные условия для этих рыданий, любовь эту рекомендуется старательно бить, крушить, разбивать головой об стенку, тыкать ею в разбитые специально для несчастья зеркала, толочь осколки зеркала в ступе, забывая, что женщина природой определена рожать, как минимум, каждые два года и, что каждый, будь то мужчина, или женщина, должен воспитать, как минимум пятнадцать-двадцать детей, а не скакать коломбинами с арлекинами, и не рыдать вместе с Пьерами после абортот от этих арлекинов: вот они все вместе на фанерной сцене, перетаскиваемой из века в век, из века в век; вот они все вместе смотрят в пустоту, над которой, вторым этажом — пыточная камера быта: что такое счастье, никто не знает, знать не хочет, и глупо что-либо говорить, глядя на все это каждый день, каждый час везде и повсюду

— Джессика, ты все-таки не уходишь от этого дождя?

Джесси, ты меня, старого, желаешь?

У тебя красивое американское сердце, клапаны его — из серебра,

там слово купается в молодой горячей крови;

искрятся, сверкают фонемы,

на языке твоём — привкус серебра,

в глазах перламутровых, выпуклых — серебряные

полосы дождя.

МАРИНА, перешагнуть через любое горе ты могла, уходя поспешно, скользя по гололеду, но не поскользываясь, лавируя между оборванными электропроводами после той страшной бури, когда полдома твоего упало, и моего половина завалилась, а дальше — громкое цоканье языками по медным монетам, по полированным перилам, по синим бутылкам черного вина, проглядел я тогда в тебе денницу свою, девушка-пепел, тоска ужалит в родничок памяти изредка, а лет-то прошло уже...

ДЕСТАЛЛЕР, щуря треугольный глаз, цитирует по памяти Монтеня крановщице, к намавленному основанию башенного крана прислоняясь белоснежной рубахой; красавице, уставшей от жары и грохота и ветра струит те белоснежные слова профессорский сынок и вундер-математик, не хочется ему блестящей славы кабинетной в пределах знатоков — пяти специалистов узких, а хочется ему бежать в раздолье страшных кранов башенных, и в белоснежный бред, в разгул мазута, крови и свободы

НЕЗНАКОМКА — это почти каждая женщина в те минуты, когда она ощущает пространство буквально всеми своими порами в истоме фетровой кожи, и, ласку струящий Бог-Батька ей лишь одной шепчет: "милая, милая", и она поворачивает голову, и этот поворот, поворот винта возносит ее, и на **полушаге** она внезапно цепляет зрачками-крючьями одного из тысячи (обязательно - одного), — стоишь и смотришь, и твердь земная колыхнется длинными волнами тяжелого бархата: подземные ветры веют, стихают надземные жидкие посвисты

СМЕРТЬ — суперженщина, которая рождает через многочисленных обыкновенных женщин, затем терпеливо ждет возвращения своих детей, принимая в свое необъятное лоно всех без исключения; тем самым она бесконечно демонстрирует свою любовь ко всем без исключения, примиря самых заклятых врагов, умиротворяя самые губительные страсти, а главное — она заботится о том, чтобы взять на себя ответственность любого существа за выход из ситуации, называемой "жизнь", ведь сколько суеты и сомнений добавилось бы, если бы таких выходов было несколько

— Кто эти люди, Игорь?

Почему они идут по проезжая часть?

Почему они одеты в красные восточные брюки?

Почему они наклеили длинные восточные усы?

Они играют на маленькая деревянная флейта и танцуют.

Красивые игры.

Красивые ludi.

— Эх ты, Джесси, Джесси, из штата Айдахо!

Не понимаешь ты нашу гордость.

Не понимаешь ты наши вершины, —

ансамбль завода Электронмат....

Электронмашхим -проб-дыб-дыб-дыб...

Электронмаш-ДЫР-БУЛ-ЩИЛ!

Ансамбль завода ЭлектронмашДЫРБУЛЩИЛ ПО Укр-быт-хим-

брод-бруд-мат-мех-пищ....

пищ....

пищ-урк-брех-мат-мех....

УБЕЩУР!

СКУМ!

Ансамбль завода ЭлектронмашДЫРБУЛЩИЛ ПО УБЕЩУР-СКУМ-

хим-брод-тех-мех-мат-ВЕ-СО-БУ-мат-мех-хам-пром-ЫР-ЫЛ-

ЭЗ-мех-мат-хам-мах-мех-мат-хам-мех-хам-мат-хам!

— Игорь! Это так, как я хотела всегда понимать.

Я теперь понимаю.

Я поняла великий русский язык!

— Электрон, Джесси, электронУБЕЩУРбудпромском!

Ырылэзы! Ырылэзы! Ырылэзы!

Их ведет к победе самородок,

Никанорович, заслуженный артист.

— Это тот, которого ведут?

— Да. Это тот, которого ведут, —

Никанорович, заслуженный артист.

Он танцует танец —

увиванец!

Увиванец!

Э-лек-трон-маш-ДЫР-БУЛ-ЩИЛ-
Пэ-о-У-БЕ-ЩУР-СКУМ-хим-брод-
тех-мех-мат-ВЕ-СО-БУ-мах-мет- НИКАНОРЫЧ!
хам-пром-ЫР-ЫЛ-ЭЗ-мех-мат-
хам-мах-пром-трон-маш-ДЫР- ФАЙНО, НИКАНОРЫЧ, ФАЙНО!
БУЛ-ЩИЛ-пэ-о-У-БЕ-ЩУР-СКУМ-
брод-тех-мех-мат-ВЕ-СО-БУ-мат-
мех-хам-пром-ЫР-ЫЛ-ЭЗ-мех-
мат-мах-хам-пром-трон-маш- ОЙ, ЯК ФАЙНО, НИКАНОРЫЧ,
ДЫР-БУЛ-ЩИЛ-пэ-о-У-БЕ-ЩУР-
СКУМ-хим-брод-тех-мех-мат- ФАЙНО!
ВЕ-СО-БУ-мах-мех-хам-пром-
ЫР-ЫЛ-ЭЗ-мех-мат-СКУМ-хам

УВИВАНЕЦ, стоя на голове неумело, упираясь ногами в глинобитную стенку старой мазанки, покосившуюся ее выпрямляет, говорит о Великой Книге, от которой звезды содрогнутся и посыпятся вниз вместе с грушами лимонками в чахлом садике вокруг мазанки, затем пьет носом воду из оцинкованного тазика, затем — самогонку, но уже не носом, а — ртом (и кусок сала в придачу) и опять носом воду (так хатса-йога велит) и читать садится Великую Книгу за столик травленого дерева малинового цвета; чтобы не заснуть, шило на деревянной подставке перед носом ставит; шило называется носовтыкач

БИНЯМА, раскрыв квадратную ладонь, показывает стайке пацанов откушенное ухо скокаря залетного и скалит зубы золотые и железные, смеется подлым смехом мстителя народного, и восхищается народная душа сим подвигом садиста над садистом, и ширится вокруг душа народа, для которого разгул и удаль бандитизма – синонимы свободы

ЛЕНИН — мертвее всех мертвых, лежит унизительно-прилюдно, вокруг него — работники ЦНИИ Мавзолея Ленина, они подклеивают узенькими пергаментными ленточками: то нос, то висок, то губу, раздвигая реденькие и тонкие волосинки усов, потому что на ужасном, влажном сквозняке лежит эта мумия, — давно все истлело, под костюмом — камуфляж из папье-маше, а еще ниже бильярдный стол, оббитый черным

бархатом, по которому черными киями гоняют черные шары руки в запонках-скарабях,
— одни руки без туловищ, без лиц, без звука, без азарта

— Я стою на горячей земле.

Джесси, я стою на горячей земле!

Двадцать тысяч лет здесь идут LUDI.

Прах после их крохоток, порист и сух.

Ветер свивает из этой пыли смутные образы.

ГАЛИНА, — это дерзость, когда женщина играет на скрипке, но в данном случае происходит то, чего мужчина воспроизвести не может — канифольный колокольчик, — сретенье звука и слуха, — когда слух продолжения звука хочет, а звук затихает, звучать уже не может, и тогда зона восторга переходит в зону страха, но страх — шепелявит, но страх — непредсказуем, а вишневое древко смычка сверкает в луче "пистолета": так звук переходит в цвет, и все видят красивый и горький профиль и жесткую прядь волос

КРИСТИНА в прокуренной мастерской начинает следующую картину, заканчивает предыдущую, выбрасывает через окно тапочки ушедшего мужа, бросает на пол замызганные от листания альбомы, волосы ее пропахли краской, Север и Юг поменялись местами, между начатым и неоконченным — тоннель одиночества, но, зато крепнет цвет, утончается ощущение: одна десятая **полутона** в верхнем углу пятна на картине решает все дело, а любовь все равно не уходит... а любовь все равно не уходит

СОЛЬВЕЙГ объясняет смысл своего ожидания возможностью бесконечного диалога, в котором она всегда побеждает; сидя на холодном морском берегу, бесконечно играет в шахматы сама с собой

УТЮГ седым уж стал, лицо — обертка запихнутых в портфельчик бутербродов с сыром, — художник всех на свете кукольных театров, рисующий утят и гусят бессонными ночами без конца

РУФЬ незаметна на перекрестке игр, она почти сливается со старухами, и что-то покупает, и что-то продает, одежда тихая на ней, ватное эхо ее окутывает, теплеет воздух на выдохе у тех, кто видит губы, застывшие на красивом слове-продолжении немигающих

глаз; она струится над землей как эхо долин, переполненных радужным паром тяжелых майских рождений

ОМЕГА плюс-минус эпсилон-пространства двухмерной жизни — круг за кругом, круг за кругом, — бесполое, подобно бабочке концертной свернутое, затем — развернутое вещество размазано передвигается по площади двухмерной, и паспорт его (ее) законный удостоверяет всем, кто сомневается, что это — личность

— Ты, опять горишь, Игорь.

Дождь не может потушить тебя и женщина не может
потушить.

Ты — этот национальный мазохизм-страдание — на себя!

Это у немцев так. Я видела: кайф от горя своего, кайф от
горя других, кайф от горя вообще.

От горя горьки твои игры, Игорь.

СЛАВА — веселая девушка, которая, тем не менее, дает очень немногим, или (как это выразится потолерантнее?) — дарит свою благосклонность очень немногим, но, зато — обязательно публично, при большом стечении народа, громких тысячекратных духовых оркестров с десятками больших барабанов в разноцветных лентах, а века, тем не менее, идут за веками, кругом войны со знаменами на небе, конец веков близится, как бы отдаляясь, антихрист процветает инкогнито, в конце каждой войны появляется старая женщина Слава в пепельных морщинах, поднимаются призраки трупов и сыпят пепельный туман горстями, и насыпают конусообразный курган, издали похожий на женскую юбку в танце невиданно красивого пепельно-фиолетового цвета, и сжигают призраки-трупы фанерные бюсты самих же себя в виде героев; на вершине конуса — старое, как потрескавшееся дерево без коры лицо Славы, и звенящий, ранний, предрассветный ореол чашечко-цветочных, небесных, чистых, без запаха, слез

— Это ваш национальный мазохизм.

Эксгибиционизм — это вынимать из живота наверх, напоказ,
эти скользкие, как это сказать по-русски? — кишки.

Да, кишки.

Это — песню петь такую длинную и грустную, чтобы в конце
её повеситься.

Или — брать это слово, этот звук, этот краска — много-много,
и дробить им камень и чугунный голова,
кайфовать от этот чужой страдание, —
это есть ваше искусство.

— А у вас разве не так, Джесси?

— Немного не так, Игорь.

У нас пишешь сам для себя, сам для свой собственный
судьба.

Закрывается, потому, что это — тайна.

ОРФЕЙ по-прежнему ищет вакханок, чтобы те его растерзали, и, в растерзанных: куртке, плаще, пальто, свитере, пуловере, майке с эмблемой Орфея, джинсах с лейбой Орфея, в микрофон — громко, и без микрофона — тихо, и гитарой и без гитары, втихаря с коленок на кухоньке, читает бессмысленно длинные, запутавшиеся в собственном синтаксисе тексты; а обкуренные вакханки становятся в первую позицию вот так: >—< разведя руки-лебеди внимают, слыша голос Орфея как шум за окном или шипение чайника, а затем становятся во вторую позиция вот так:<—> и, меняя улыбку, с открытыми глазами засыпают, кончился миф давным давно

КОНФУЦИЙ — это композитор, на столе которого разложены аккуратно стопки партитурной и прочей бумаги, рядышком, друг к другу вплотную — карандаши, отдельно — ручки; перьевые, для туши, фломастеры;... отсутствие пыли и малейшего пятнышка на столе человека непьющего, некурящего; и лишь случайный кленовый лист, залетевший в окно, послужит первым звуком симфонии аккуратно написанной, приятной и уютной

— Джессика, я стою на горячей земле.

На прелой земле — двадцать метров культурного слоя дымится!

Разве смысл человечества в перегное

заунывных,
по одному и тому же сценарию...,
из поколения в поколение,
однообразных
страстей?

ДОН ДЖОВАННИ ДЕЛЬ ТЕНОРИО, вспоминаешь красавицу-мать, с которой ты спал ребенком в одной постели, в теплой влаге темных ароматов, и случайно прикоснулся то к шелковистому бедру, то к мягким волосам **з а п р е т н о г о**, и мать смеялась как от щекотки, лаская тебя, приучая не бояться женщин, но полюбила ее пуще других смерть, и забрала от тебя, и ты ищешь этого понимания у других, не желая их власти над собой, потому что любовь, как мать, настолько все прощает... прощает все мыслимое и неммыслимое, все прощает

ДОННА АННА, второго отца которой ты убил, Тенорио, искала у тебя замену отеческого прикосновения, в упор не хотела видеть юношу, ищущего грудь ее как грудь матери; вы оба — недорожденные, недоласканные, недолелеянные, как и все мы, для которых страх перед жизнью сильнее страха смерти, а серный водоворот соития — тление желтого средневекового тела: желтый лист упал на землю, — триллионы авторов написали эту фразу, дух! дух!, который легче пустоты внутри нас, где Ты, Дух? Дух Божий?

— Двадцать метров культурный слой, Игорь, это много.

У нас в Айдахо стояло четыре вигвама, и это есть весь
наш культурный слой.

Я люблю свой скалистые горы.

Я не могу жить долго большой город.

Я люблю много воздух и много... чтобы тихо.

Тихо — это от истина эхо есть.

Это от истина — нет звук, есть только то, что перед звук.

Нет эха, но оно вот-вот...

— Истина, — слово женского рода, Джессика.

Уходишь тихо, склонив голову, не попрощавшись.

В Скалистые горы уходишь, в провинцию, насыщенную
знанием любым, только руку протяни...

Век нынче такой.

Прощай, красавица.

ХАЙДЕГГЕР все на той же проселочной дороге ищет истину в сочной после дождевой колее, зорко всматриваясь в каждый ее изгиб: "... не достаточно ли представлена чистая

сущность истины а том обозначимом понятии, которое не обременено никакой теорией и защищено своей простотой?"

"Не что-то одно истинное, но целая для восприятия

Сбывающаяся истина

Для просторного постоянства

Приглашает мыслящее сердце

В простое долготерпение

Единственного великодушия

Благородного воспоминания"

ПОНТИЙ ПИЛАТ, следуя в Рим на полном скаку бормотал, а затем и выкрикивал, вспоминая отрывки каких-то идиотских сплетен, пустословных прибауток, в контексте которых употребление слова "истина" превратилось бы в неприличие, — "что есть истина?, — провинциальные патрицианки, курящие "Кемел" с ментолом кричат: "In vino veritas", и это единственные слова, которые они знают на родной латыни, курвы, а затем — опять пьянь непроглядная, — истина, истина... ведь был день (теперь я точно знаю, что был такой день!) когда истина стояла рядом и молчала, а он спрашивал неведомо кого: "Что есть истина?!": вот вобьют тебе в руки квадратные широченные гвозди, может скажешь, что есть истина?, нет?, — так на уродливом греческом "Тау" повисишь, прокричишь, прохрипишь, что есть истина? — "Божье Слово, обогренное кровью?" — так говоришь?... да мало ли проселочных дорог обогрил я собственной кровью!, сдирая кожаные латы, воя от боли, сдирая медные латы, чтобы перевязали те раны хоть чем-нибудь, и хлестала кровь в пыль проселочных дорог всех вместе взятых, а слово — с ветром улетело, и где та кровь, и где та пыль? — а слово с ветром улетело, потому, что истина есть дело: забивать гвозди в руки и в деревянные стропила, строить пирамиды, чтобы они тысячелетиям и стояли и пустовали, строить Колизеи, чтобы они осыпались, и чтобы туристы стояли и тупо смотрели на эти камни, — вот это — дело!, а потом уходили туристы эти свинчивать железки и железины, чтобы те поржавели через пятнадцать-двадцать лет максимум — вот это дело!, а в Слово не верю, не верю, не верю!: пусть не ржавеет оно хоть миллионы лет, но какая от него польза

БУДДА умер и не воскрес, и не только из-за того, что поел тяжелого свиного мяса: уж слишком легко давались победы над целыми царствами ему, Гаутаме, аристократу, говорившему с царями на одном языке; что можно сказать еще, оглядывая миносую пещеру европейской своей души: где-то, в одном из ее ответвлений курится ароматная

тибетская палочка, — там приятно сидеть и нюхать, но Бог, сотворивший небо и землю, и баньяновое дерево, и Будду, и тибетскую палочку, находится вне пещеры, и хочется, и неможется к нему выбраться, **выбраться! ВЫБРАТЬСЯ!**

Все то, что тело не успело выполнить, выполнит воображение.

Душа бросает тень, и на закате эта тень становится все длиннее и длиннее.

Боясь жизни, люди взоры свои обращают ко сну, уподобляясь массовой периферии цветных мониторов.

А ты, жадно сосущий грудь жизни, проклят хотя бы тем, что и этого тебе мало.

И книг тебе мало, и приключений на седую голову мало, потому что неистовая ты воронка, и после смерти твоей истовые и неистовые слова и видения, размазанные ветром, будут кружить над твоей могилой.

Кто придумал эту ложь: "Счастье — есть покой"? Кто хочет быть покойником?

Выгорает душа до тла и становится абсолютно правильной сферой, чуткой к ветру света, но глазу доступны лишь: синева и смутно угадываемый горизонт.

ИЕЗЕКИИЛЬ — босиком по костяному выщербленному гудрону, — к далекому дереву, крона которого под ветром не качается, и листья не выгорают на солнце; крепчает ветер, треплет стальную прядь волос (стальную только по цвету), мягкой проволокой она сворачивается, неспособная резать; давно пересохли слезы те древние, — сыпятся из глаз цвета ситца сухим горчичным семенем, а дерево на глазах стекленеет, — все меньше и меньше становится тень благая